

Мария Степанова

ПАМЯТИ
ПАМЯТИ

Романс



Санкт-Петербург

Что толку в книжке, — подумала Алиса, —
если в ней нет ни картинок, ни разговоров?

Кэрролл

Бабушка сказала:

— Видно, возраст сейчас другой у него. Пей
с живыми, залейся, но не пей с мертвыми.

Я не понял.

— Как можно с мертвыми? — я не понимаю.

— Еще как можно, — сказала бабушка. —
В основном-то с мертвыми ведь и пьют. Не пей,
ты. Выпьешь рюмку — пройдет сто лет. Выпьешь
вторую — пройдет еще сто. Выпьешь третью —
и еще. Выйдешь на улицу, а уж триста лет — нет.
Никто не узнает, не то время.

Я думал — пугают ребенка.

Соснора

Какой ужас! — сказали дамы, — что же вы
тут нашли удивительного.

Пушкин

Глава первая, чужой дневник

Умерла моя тетя, папина сестра, было ей немногим за восемьдесят. Мы не были близки, и за этим тянулся длинный хвост семейных разночтений и обид; мои мама и папа были с ней, что называется, в сложных отношениях, виделись мы нечасто, и между нами почти ничего своего не выросло. Время от времени мы перезванивались, виделись и еще реже, и с годами, отключая телефон («Не хочу никого слышать!»), она все дальше уходила в собственноручно выстроенную раму: в толщу вещей и вещей, которыми была заставлена ее маленькая квартира.

Тетя Галя жила мечтой о красоте: о решающей и окончательной перестановке предметов, окраске стен, вывешивании штор. Когда-то, годы назад, она взялась за генеральную уборку, и та постепенно захватила дом. Шел постоянный процесс перетряхивания и пересмотра; содержимое квартиры необходимо было разобрать и систематизировать, каждая чашка требовала раздумья, книги и бумаги переставали быть собой и становились просто узурпаторами объема: стопками и грудями, баррикадой перекрывавшими квартиру. Комнат было две; по мере того как предметы завоевывали пространство, *Галка* перебиралась из одной в другую, захватив с собой самое необ-

ходимое. Но и там начинался процесс разборки и переоценки; дом жил, вывалив наружу собственное нутро и не умея втянуть его обратно. Важного и неважного уже не осталось; значимым так или иначе было все — и особенно желтоватые газеты, собранные за десятилетия, высокие колонны вырезок, подпиравшие стены и кровать. Место для хозяйки находилось теперь лишь на продавленном диванчике, там мы и сидели вдвоем среди взбесившегося моря открыток и тележурналов в тот раз, который я особенно помню. Она пыталась меня накормить какими-то кабачками, впихнуть в меня драгоценные, припасенные для гостей, шоколадки, я постыдно отнекивалась. Верхняя, ближняя вырезка была «Какая икона необходима вашему знаку Зодиака», название газеты и дата публикации были аккуратно надписаны сверху, идеальным почерком, синими чернилами по неживой бумаге.

Мы приехали где-то через час после того, как позвонила сиделка. На лестнице была полутьма, и казалось, что она жужжит: на ступеньках и лестничной площадке стояли и сидели незнакомые люди, которые уже каким-то образом узнали о смерти и слетелись сюда первыми — предлагать свои ритуальные услуги, помощь с документами, отнесем-заверим-разберемся. Кто дал им знать, милиция, врачи? Один из них прошел с нами в комнату и стоял там, не снимая куртки.

Тетя Галя умерла под вечер 8 марта, в советский праздник мимоз и открыточных утят, — один из табельных дней, когда в нашей семье было принято собираться вместе, раскладывался широкий гостиный стол, газировка лилась в темные, рубинового стекла, бокалы, присутствовали

четыре неизменных салата, морковный с орехами, свекольный с чесноком, сырный — и великий уравниватель оливье. Этого всего не случилось с нами уже лет тридцать, оно кончилось задолго до того, как мои родители уехали жить в Германию, Галка гневно осталась, а в газетах стали печатать волнующие вещи: гороскопы, рецепты, новости домашней медицины.

Ей очень не хотелось в больницу, и было отчего. В больнице умерли ее родители, мой дедушка с бабушкой, и собственный опыт казенной медицины у моей тети тоже был. И тем не менее дело шло к тому, чтобы вызвать «скорую»; этим бы и кончилось, если бы не праздничные дни, решили подождать до рабочего понедельника — и так у Галки появилась возможность повернуться на бок и умереть во сне. В соседней комнате, где жила сиделка, в шахматном порядке висели фотографии и рисунки моего отца, много, по всей ширине стены; ближе всего к дверям — черно-белая картинка, снятая им в шестидесятых, из моей любимой серии про ветеринарную клинику. Это очень хорошая фотография: сидят у стенки и ждут врача собака и хозяин, хмурый мальчик лет четырнадцати и пес-боксер, приткнувшийся к нему плечом.

Квартира теперь стояла оторопевшая, съежившаяся, полная внезапно девальвировавшихся вещей. По углам большой комнаты молчали сухие остовы телевизоров. Огромный новый холодильник был впрок набит ледяною цветной капустой и замороженными буханками хлеба («Мишенька любит хлеб, купи побольше»). В шкафах были все те книги, с которыми здороваешься как с родней, приходя в гости, — «Убить

пересмешника», черный Сэлинджер с мальчиком на обложке, синие корешки «Библиотеки поэта», серый Чехов, зеленый Диккенс. На полках стояли старые знакомые: деревянная собака и желтая пластмассовая собака, какой-то еще резной медведь с флажком на нитке. Все они словно присели перед дорогой, разом усомнившись в собственной нужности.

Когда несколькими днями спустя я стала разбирать бумаги, среди фотографий и праздничных открыток почти не было *письменного*. Были залежи теплого белья и офицерских кальсон, были новые и красивые пиджаки и юбки, рассчитанные на особенный парадный выход и поэтому ненадеванные и всё еще пахнувшие советским магазином. Была вышитая мужская рубашка из довоины и маленькие костяные брошки, сквозные и девичьи, — роза, еще роза, журавль; они принадлежали Галкиной маме, моей бабушке Доре, их уже лет сорок никто не носил. Между всем этим существовала безусловная и прямая связь, и все это имело смысл и значение только как целое, в общей раме длящейся жизни, а теперь на глазах рассыпалось в пыль. В одной книге про устройство мозга я вычитала, что для того, чтобы осознать в человеческом лице *лицо*, чтобы его как лицо опознать, необходима не столько совокупность черт, сколько овал. Без овала никак не обойтись: он — то, что ограничивает нашу историю, то, что собирает ее в умопостигаемое единство. Овалом может быть сама жизнь, пока продолжается; или, уже постмортем, связующая линия рассказа о том, что было. Покорное, разом ощутившее себя мусором, содержимое этого дома вдруг расчеловечилось и перестало хоть что-нибудь помнить и означать.

Стоя над ним, делая что положено, удивляясь тому, как мало в этом, таком читающем, доме писали, я с шаткой нежностью перебирала немногие словесные клавиши, на которые можно было нажать; какие-то фразы из недавнего или давнего, истории про *хозяина барбоски*, расспросы про то, как поживает *малышка* — мой подрастающий сын, рассказы о далеком, из тридцатых, походе через поля, быстро испаряющуюся, невозстановимую языковую ткань. «Я никогда не сказала бы *шикарно*, только *роскошно!*» — говорила мне Галка строго, и что-то еще такое, что уже не вспомнить, *батя* об отце, известия о подружках, новости соседок, вести из очень одинокой, самой собой питающейся жизни.

И все же квартира была местом письма, и вскоре об этом я узнала. Среди вещей, с которыми тетя Галя не расставалась до последнего, о которых спрашивала и которые трогала рукой, оказались тома и тома исписанных ежедневников, подневных хроникальных записей, которые она вела годами, ни-дня-без-строчки, в обязательном, как встать и умыться, режиме. Они все еще лежали в деревянном коробе у изголовья кровати, их было много: хватило на две большие сумки, в которых я увезла их к себе домой, на Банный переулок, и сразу же села читать в поисках рассказа, объяснения, овала. И прочла; и странные же это были дневники.

Для пристрастного читателя разного рода дневников и записных книг они делятся на две внятные категории. Есть те, где речь специальным образом рассчитана на то, чтобы стать официальной и объясняющей, — и, стало быть, на

то, чтобы быть услышанной извне. Тетрадь становится полигоном, местом для отлаживания и тренировки внешнего-себя, и, как какой-нибудь дневник Марии Башкирцевой, оказывается развернутой декларацией, нескончаемым монологом, обращенным к невидимой, но явно сочувственной инстанции.

Мне интересней дневники другого рода, те, что представляют собой рабочий инструмент, специально пригнанный под руку этого вот ремесленника и поэтому мало пригодный для чужих. Рабочий инструмент — это формулировка Сьюзен Зонтаг, десятилетиями практиковавшей этот жанр, и она кажется мне не вполне точной. Записные тетради Зонтаг, и не ее одной, — не просто способ сложить в беличий защечный мешок идеи, к которым еще предстоит вернуться или оставить быстрый, в три точки, очерк того, что случилось, чтобы вспомнить, когда понадобится. Это практика, совершенно необходимая для повседневной жизни людей определенного типа: каркасная сетка, на которой держится их привязанность к реальности и вера в то, что она непрерывна. Такие тексты имеют в виду одного-единственного читателя — зато очень заинтересованного; еще бы! Разломив тетрадь на любом месте, убеждаешься в собственной яви; она — набор вещественных доказательств, подтверждающих, что у жизни есть история и длительность — и, главное, что до всякой точки своего прошлого рукой подать.

По большей части эти вещи (так богато представленные в дневниках той же Зонтаг — перечни фильмов и прочитанных книг, списки красивых слов, сушеные, как грибы, выжимки пройденного) почти никогда не имеют прямо-

го выхода, последствий — не разворачиваются в книгу-статью-фильм, не становятся подпоркой или отправной точкой для реальной работы. Они вовсе не имеют в виду кому-либо что-либо объяснить (разве что себе, но таким галопом и такой скорописью, что иногда нелегко восстановить то, что именно имелось в виду). Это простой холодильник — или, как это было в старину, *ледник*, место хранения скоропортящегося продукта памяти, территория, где накапливаются свидетельства и подтверждения, вещественные залого не-вещественных отношений, если воспользоваться гончаровской формулой.

Есть в этом что-то смутно неприятное, хотя бы в силу избыточности; говорю это с тем большим основанием, что я и сама из таких и мои рабочие записи слишком часто кажутся мне балластом: мертвым, избыточным грузом, с которым хотелось бы расстаться, но что тогда от меня останется? В книге «The silent woman» Джанет Малькольм описывает интерьер, который чем-то похож на мою собственную тетрадь, — и это жутковатое ощущение. Там, помнится, присутствовали журналы, книги, полные пепельницы, пыльные перуанские сувениры, немытая посуда и коробки из-под пиццы, банки, коробочки, открывашки, справочники «Who is Who», отвечающие за точное знание, и какие-то предметы, не отвечающие ни за что, потому как ни на что уже давно не похожие. Для Малькольм это жилье — борхесовский алеф, *монструозная аллегория правды*, месиво нерасчищенных фактов и версий, так и не обретшее чистый порядок истории.

Но дневники моей тети Гали были совершенно особого рода: пока я читала, их своеобразная текстура — больше всего похожая на крупноячеистую сеть — становилась все загадочней и все интересней.

В детстве на больших художественных выставках всегда было можно увидеть посетителей одного определенного типа. Почему-то большей частью это были женщины, они переходили от картины к картине, наклонялись к табличкам и делали записи на листках или в тетрадках. В какой-то момент я поняла, что они просто переписывают туда все выставленные работы, делают что-то вроде своеручного каталога — почти нематериальную копию увиденного. Я думала тогда, зачем им это, пока не поняла, что перечень дает иллюзию обладания: выставка должна была пройти и рассеяться, но бумага сохраняла порядок уходящих из-под носа картин и скульптур в первоначальном виде, как оно было, не давая им кончиться.

Галкины дневники были таким перечнем ежедневного случившегося, на удивление подробным — и при этом на удивление скрытным. Они всегда точно документировали такие вещи, как время вставания и засыпания, названия телепередач, количество телефонных звонков и имена собеседников, то, что было съедено, и то, что было сделано. Тем, что виртуозно и тщательно огибалось, было *содержание* дня, его наполнение. Было написано, скажем, «читала», но ни слова не говорилось о том, что это было за чтение и что оно значило; и так было со всем, из чего состояла ее длинная и полностью записанная жизнь. Ничего указывающего на то, чем эта жизнь бы-

ла, — ничего о себе, ничего о других, ничего, кроме drobных и подробных деталей, с летописной точностью фиксирующих ход времени.

Мне все казалось, что где-то эта жизнь должна высунуться — хоть раз, но показать себя, сказать все. В конце концов, она состояла из интенсивного чтения, а значит, и думанья, и еще из тихого кипения разнонаправленных прихотей и обид, которые много для моей тетки значили и подолгу ее занимали. Что-то из этого должно было сохраниться, разрешиться — гневным абзацем, где тетя Галя сказала бы этому миру и нам, его представителям, всю правду, все, что она о нас думает.

Но ничего такого в тетрадях не было. Были оттенки и полутона смысла, были какие-то складки текста, где задержалась эмоция, — «ура» на полях, когда звонили папа или я, несколько не поясняющих себя горьких фраз в родительские годовщины. И, в общем-то, всё. Словно главной задачей каждой записи, каждого ежегодно заполняемого тома было именно оставить надежное свидетельство о своей внешней жизни — а жизнь настоящую, внутреннюю, оставить при себе. Все показать. Все скрыть. Хранить вечно.

Чем она так дорожила в этих тетрадях? Почему до последнего дня держала их при себе, и боялась, что пропадут, и просила придвинуть поближе? Возможно, писанный текст, как он вышел, а вышел он рассказом об одиночестве и незаметном сползании в небытие, все же имел для нее силу обвинительного заключения — мир и мы должны были прочесть все это и понять наконец, как дурно мы с ней поступили.

Или, странно подумать, в этих скудных событиях для нее сохранялось какое-то вещество ра-

дости, которое ей важно было обессмертить, перевести в разряд рукописей, которые не горят — и говорят, вовсе не пытаясь свидетельствовать? Если так, ей это удалось.

11 октября 2002

Опять от обратного. Сейчас 1:45. Только что замочила полотенца и ночнушки и др., что надо, кроме темного. Постельное позже. До того унесла все с балкона. За окном + 3°С, вдруг овощи бы заморозили! Почистила тыкву и пока в короб ломтями, буду морозить. Очень медленно все! Под капустник на РТР за два часа сделала, и чуть еще время ушло. До того чай с молоком.

С 16 до 18 спала, не было сил, чтобы не прикорнуть. До того звонок Т. В. о телефоне на Войковской. А его звонок до 12: работает ли телек? А он с утра не работает ни на одном канале. Я поднялась около 8, когда Сережа (житель. — М. С.) умывался, а после 9-ти, долго собираясь, ушла. Автобус № 3 пришел в 9:45, ждали его долго. Надо было идти на 171-ый. Везде уже были толпы, и все получилось долго. Уральская, автовокзал, газеты. Зато купила тыкву, впервые увидев ее за этот сезон, и морковь. Дома была около 12-ти. Хотела смотреть «Коломбо». А с ночи после 1:45, измерив давление, приняла клофелин, ждала, пока оно снизится, чтобы еще принять лекарства. А, двадцать минут провозившись, не смогла его измерить и легла уже в 3 часа.

8 июля 2004

С утра хороший солнечный день, без дождя обошлось. Утром пила кофе со сгущенкой и ушла около 11 на Алтайскую. Там оказалась толпа,

и я сидела очень долго, до 13-ти, у пруда, смотрела на зелень, облака, небо, пела, и так мне было хорошо!

По дорожкам прогуливали собак, везли малышей в колясках, целые группы загорали в купальниках, отдыхали и веселились.

Заплатила уже без очереди, купила творог и поплыла домой. У новой школы такая роскошная зелень — кашки высоченные, шиповник — удивительно красиво! А на дороге ребята-мальчишки играли в разбитой машине. У них была пластиковая бутылка, набитая до крышки стручками. Говорят — съедобные.

11 октября 2005

Не было сна и желания вставать, шевелиться, что-то делать... 10:40 принесла почту, снева легла. Света вскоре пришла, такая умница — купит всё лучшее меня! Выпила чай и лежала весь день. Поблагодарила Вл. Вас. за почту!..

Боброва дозвонилась до меня после 12-ти. Она приехала в четверг...

Я звонила в 79-ую Морозке, Ире из ЦСО, вечером — Юрчуку. Под ТВ убрала со стула стирку. Легла 23.30.

Жарко. Надела юбочку Тони. «Серая бесцветная, никому не нужная жизнь». Днем — чай, вечер — кофе! Аппетит полностью отсутствует!

И все-таки там была одна запись, непохожая на остальные, от 17 июня 2005 года.

С утра позвонила Симе. Потом достала альбом. Конечно, вытряхнула все фото и долгое время их рассматривала. Есть не хотелось, а это занятие вызвало такую тоску, слезы, грусть

и по ушедшему времени, и по всем тем, кого нет, и по бестолковой, точнее, напрасной жизни своей, по пустоте, что на душе... Хотелось забыться.

И легла я снова в постель и весь день, даже странно, непонятно как, спала, почти не поднимаясь, до самого вечера, до 20-ти часов, когда, выпив молока и закрыв шторы, снова легла и продолжился этот сон, уводивший от действительности. Сон — спасение.

Прошло сколько-то месяцев или лет. Галкины тетради лежали тут и там, смешиваясь понемногу с другими бумагами, какие оставляешь на поверхности, имея в виду, что они немедленно пригодятся, и так они стареют под рукой, как домашняя утварь. Я вспомнила их исподволь, когда оказалась в Починках.

Глухой заштатный городок в Арзамасском уезде, двести с длинным хвостом километров от Нижнего Новгорода, Починки пользовались в нашем доме сомнительной славой. Это было место, откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться семьдесят или сколько там лет. Набоков пишет про существование как про щель слабого света между двумя идеально черными вечностями; кажется, что первая — та, где нас еще нет, — зияет глубже; вот такой дырой в семейной памяти стал за годы этот тишайший населенный пункт, никому особо не интересный.

Семья там была, кажется, огромная; я смутно помнила рассказы о братьях и сестрах, которых было больше десятка, фотографии телег с лошадьми и деревянных строений, и все это заслонялось позднейшей историей о невероятных при-

ключениях уроженки Починок моей прабабушки Сарры Гинзбург. Как-то она успела и отсидеть в тюрьме в царские еще времена, и пожить во французском городе Париже, и выучиться на врача, и лечить советских детей, включая мою маму и меня, и все, что о ней ни рассказывали, имело лавровый привкус легенды. Проверять ее истоки никто и не брался.

Был, впрочем, у нас родственник, который все же собирался в Починки — теперь, съезжившись за век, они стали селом — как в полярную экспедицию и пытался подбить на это ближних и дальних, меня в числе последних. У него были удивительно прозрачные глаза и постоянный, работавший как моторчик энтузиазм, поводы для которого он обсуждал со взрослыми. В Москве он бывал нечасто и, приехав туда с разговорами о поездке, вдруг не застал там моих родителей: они жили теперь в Германии, семью представляла я. Никогда не думавшая о сентиментальных путешествиях такого рода, я вдруг легко воодушевилась: наше месторождение впервые показалось достижимым, то есть реальным. И чем больше мой собеседник настаивал на тяготах пути и дальности расстояния, делавших путешествие маловероятным, требующим подготовки, планирования, мысли, тем понятней выходило, что добраться до него как-нибудь да можно. Этот саратовский Лёня намеревался поехать в Починки *семьей*, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много; так и прособирался и умер лет десять назад. Починки продолжали стоять невидимые, как Китеж.

И вот я понемногу к ним приближалась. Что меня подгоняло — не знаю, и вовсе уж непонят-

но, что именно я рассчитывала там обнаружить, но перед дорогой я посидела в интернете, вроде как наводясь на резкость. Выходило, что место это и впрямь потустороннее, размещенное на старой карте глубоко за Арзамасом, в Лукояновском уезде — под боком у пушкинского Болдина, среди населенных пунктов с именами Утка и Погибелка. Поезда даже близко не подходили к этим краям, от любой железнодорожной станции было добираться еще часа три. Решили ехать без выкрутасов: машиной из Нижнего.

Отправились рано утром, по розовым, не оправившимся от зимы проспектам. Странная, не вполне обеспамятевшая городская среда — индустриальные постройки пополам с деревянными домами, не сдающими новому миру ни пяди, с их заборами и палисадами, — съезжала в овраги и снова подступала к стеклам. Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая бессмысленную гоночную скорость; водитель, отец трехмесячного сына, руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума снег. Мир беднел с каждым прожитым километром. В почернелых поселках светили фаянсовым блеском новенькие церкви, белые, как зубные коронки. Со мной был путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, давно оставшегося далеко по правому боку, и книжечка про Починки, изданная двадцать лет назад. Там упоминалась лавка *еврея Гинзбурга*, торговавшего швейными машинами, и это было все. О героической Сарре там и не слышали.

Ехали долгие часы. Начались наконец смурные, не тосканские-мандельштамовские, а умбрийские какие-то холмы цвета темной меди, ровные, как вдох и выдох. Иногда отсвечивала

быстро кончавшаяся вода. Как миновали развилку, ведущую к Болдину, стали попадаться памятники Пушкину; по преданию, его деревенская любовница была родом из села Лукоянова, давшего название уезду. Стояли древесные табунки.

Городок был выстроен вдоль главной продольной улицы; от нее расходились влево-вправо аккуратные линии-перпендикуляры. По ту сторону дороги стояла хорошая классицистская церковь — как объяснял путеводитель, это был Рождественский собор, где служил когда-то священник Орфанов. Фамилию я знала: Валя Орфанова передавала мне в детстве приветы, а один раз попросила маму купить мне от ее имени книжку, *чтобы Маша помнила*. Из того, что было в букинисте, мама выбрала сборничек Сологуба. На беду, это оказался «Великий благовест», книжка революционных стихов, изданная в 1923-м; речевки вроде «Я свободный пролетарий с сердцем пламенным в груди», по моим тогдашним меркам, никуда не годились, а оценить звук я была еще не в состоянии, а ведь было что:

Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил.

На пустынной площади, с которой хотелось поскорей свернуть туда, где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна Фуфаева, историк починковской жизни. В этот воскресный день для нас открыли библиотеку, место местной культуры, где была выставка: кто-то прислал из Германии столетней давности акварели — портреты домов и улиц. Эта немецкая семья жила в Починках с конца девятнадцатого века, и я вдруг вспомнила слышанную в детстве

фамилию — Гетлинг. Картинки были гемютные, цветные; Августа Гетлинг, сестра их автора, готовила мою юную прабабку к гимназии вон в том веселом домике с мальвами и надписью «Аптека». Он все еще стоял, облицованный каким-то бетоном, потерявший крылечко, ни цветов, ни резных наличников. Где жила в начале двадцатого моя Сарра со своей родней, широким двором, телегой, никто не знал.

И это было все, только это и было, как в дневниковых записях тети Гали, где приходилось довольствоваться отчетами о погоде, перечнем продуктов и телепрограмм. То, что за этим стояло, колеблясь, гудя, не торопилось себя обнаружить, а может, и вовсе не собиралось этого делать. Нас угостили чаем, нас повели гулять. Я шарила глазами по земле, словно пыталась найти копеечку.

Село так и не затянуло очертания того, что было городом, существовавшим вокруг крупнейшей в уезде, а то и во всей губернии конской ярмарки. Мы прошли насквозь когдатошнюю базарную площадь — огромное ее пространство теперь заросло деревьями, где-то по центру присутствовал свинцового цвета памятник Ленину, но место явно отвыкло от людей, слишком велико оно было, чтобы найти себе новое назначение. Его окаймляли сошедшие с тех картинок игрушечные домики, некоторые со следами быстрой и насильственной перестройки. Мне показали еще одно пустое место — асфальтовый квадрат вместо лавки Соломона Гинзбурга, старшего брата Сарры, и мы наскоро сфотографировались: группа нахохленных женщин в пальто и шапках. Ветер дул. На краю травы, у проезжей дороги, серебрился еще один памятник: могучему жеребцу Капралу, двадцать лет прослужившему в этих местах производителем.

Степанова М.

С 79 Памяти памяти. Романс / Мария Степанова. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — 608 с. — (Азбука. Голоса).

ISBN 978-5-389-32901-0

«Памяти памяти. Романс» — книга, которая начинается с желания вспомнить и заканчивается сомнением в том, что это вообще возможно. Мария Степанова обращается к истории своей семьи, но обнаруживает, что между ней и прошлым — лишь немые вещи, выплывшие снимки и документы, утратившие живую связь с теми, кто их оставил. Постепенно частная история разворачивается в сторону большого времени: за судьбами родственников проступает XX век с его катастрофами и разрывами. Это книга о хрупкости памяти — о том, как память не только сохраняет, но обнаруживает собственные пределы.

Мария Степанова — поэт, и это ощущается в каждом слове, «Памяти памяти» хочется читать вслух, перечитывать выделенные места. Эта книга возвращает первоначальную радость чтения, когда сдерживаешь себя, чтобы не позвонить кому-то и не сказать: «Послушай, как это здорово».

«Памяти памяти. Романс» вышла в 2017 году и мгновенно стала событием: премии «НОС» и «Большая книга», переведена на три десятка языков и заняла место в самом сердце современной русскоязычной литературы. Почти десять лет спустя она звучит только острее — как будто время работает не против нее, а вместе с ней.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА СТЕПАНОВА

ПАМЯТИ ПАМЯТИ РОМАНС

Ответственный редактор Мария Нестеренко
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Наталья Бобкова, Ульяна Смирнова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 30.07.2026.
Формат издания 84 × 96 ¹/₃₂. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 28,31. Заказ № .

Изготовитель:	Өндіруші:
ООО «Издательство АЗБУКА» —	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ —
обладатель товарного знака АЗБУКА®,	АЗБУКА® тауар белгісінің иесі,
115093, Москва, вн. тер. г.	115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
муниципальный округ Даниловский,	Даниловский муниципалдық округі,
пер. Партийный, д. 1, к. 25	Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01	Тел. (495) 933-76-01
Факс (495) 933-76-19	Факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru	E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательство АЗБУКА»	Санкт-Петербург қ.
в г. Санкт-Петербурге,	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы,
195112, Санкт-Петербург,	195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 68	Малоохтинский даңғылы, 68-үй
Тел. (812) 327-04-55	Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru	E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru	www.azbooka.ru
Отпечатано в России.	Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<https://certification.atticus-group.ru/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

16+

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А. www.pareto-print.ru



Y-MOD-42221-01-R